

ренные зрачки; сколько внутренних лет сидит он здесь, что означает фонарь, что знаменует собой снег и что значит он, появившийся на проспекте?

Цветы любви, цветы дурмана . . .

неожиданно запела Лида, отступив от подъезда. Проходил какой-то забулдыга; он посмотрел на них иронически. Неизвестный поэт и Лида, сквозь завесу колющего снега, пошли. Карты лежали забытые на подъезде.

Ночная чайная гремела. Проститутки в платках, в ситцевых платьях, смотрели нагло и вызывающе. На бледных лицах непойманных воров мигали глаза и бегали по углам, на круглых столах стоял чай, невыносимого, как заря, цвета. Неизвестный поэт и Лида появились в дверях. Ночь отошла.

Проспект 25 Октября носил в те времена иное название. Украшенный круглыми ослепительными электрическими фонарями, в то время, как окружающие его улицы и переулки мерцали от газового освещения, простирал он между домами дворцы, церкви и казенные здания. Сквозь стекла окон и дверей можно было видеть белоснежные лестницы с коврами нежнейшей окраски, портьеры, играющие шелками, столики из всевозможных материалов, кресла и диваны всевозможных форм. Иногда, в длинных залах, под потолками, с несущимися по воздуху амурами, молодые люди просиживали ночи напролет, глядя помертвевшими глазами в пространство.

Сергей К. сидел в своей комнате, разделенной надвое шкафами с французскими книгами. В столовой, сохранившей следы восемнадцатого века, было тихо — семья, вплоть до бабушки, уже отпила вечерний чай и разбрелась по своим комнатам. Бабушка должно быть в это время снимала свою наколку перед зеркалом, или, может быть, мазала

Глава IV

Тептелкин и неизвестный поэт

После того, как барышни, стуча каблучками, скрылись в полете, Тептелкин постоял, посмотрел на то место, где только-что они протягивали ручки, и быстро пошел, спотыкаясь. Повидимому, он задумался.

— Как вы думаете... — по рассеянности остановился Тептелкин.

Книжник улыбнулся.

— Всегда вы шутите, вместо того, чтобы поздороваться по-человечески. Садитесь, потолкуем.

Но Тептелкин стал рассматривать книги, развешанные на решетке сада при Мариинской больнице.

— Если бы у вас были деньги, вы, пожалуй, всю мою библиотеку купили бы, — и уличный торговец стал показывать Тептелкину книги.

Действительно книги были замечательные: почти лубочный, недавний французский перевод Марка Аврелия был переплетен в роскошный пергамент, тисненый золотом, Зодиак жизни — карманная книжечка с синим обрезом с прекрасным орнаментом на заглавном листе уносила в позднее Возрождение.

— Нет ли у вас «Утешения философии» Боэция? — спросил Тептелкин. — Я бы взял у вас в долг.

Книжники охотно давали книги в долг Тептелкину, с которым можно было посидеть и поговорить.

Боэция не оказалось.

— Но как же совместить это с концепцией неизвестного поэта, что большевизм огромен, что создано положение, подобное первым векам христианства.

И всю дорогу старался Тептелкин выйти из этого затруднения.

— Всегда новая религия появляется на периферии культурного мира, — размышлял он. — Христианство появилось на периферии греко-римского мира в Иудее нишей, печальной, узкой и косной духом. Ислам у кочевников, а не в цветущем Иемене, где бьют фонтаны, где ароматные плоды колышались и наполняют воздух дурманом, где женщины, при пробуждении, сладострастно потягиваются и лениво зевают. Фу, какие нечистые мысли, — отвлекся Тептелкин, — точно я о женщинах мечтаю.

Он задумался.

— Даже во сне, иногда, появится женская грудь и вздохнет рядом. Черные глаза, кажется, смотрят в душу, обнимешь пустоту, замрешь и ждешь чего-то. — И Тептелкин увидел свою комнату и розу, подаренную ему в прошлую среду Марьей Петровной Далматовой. — Страшно жить ей должно быть, — подумал он о Марье Петровне, — страшно. Мы люди культурные, мы все объясним и поймем. Да, да, сначала объясним, а потом поймем — слова за нас думают. Начнешь человеку объяснять, прислушаешься к своим словам — и тебе самому многое станет ясно.

И он вспомнил о неизвестном поэте. Любит он здорово неизвестного поэта! Напишет неизвестный поэт, не думая, две строчки, а выйдет умно, эх чорт возьми, как умно. И будет в этих словах гибель и великая страсть и жалоба на заходящее навек солнце. За неизвестного поэта слова сами думают. О, как умел обращаться со стихами неизвестного поэта Тептелкин! Каким многообилием смысла раскрывались для него метафоры неизвестного поэта! Казалось ему, разрушается государство, а чистый юноша поет о свободе духа, поет скрытно, как бы стыдясь, а все слушают и хвалят за непонятные метафоры, за сияние, возникающее от сопоставления слов.

Утром того же дня казалось неизвестному поэту, что он проснулся в доме терпимости: одетые гусарами, турчанками, польками, женщины сидят на полу и играют в карты; тапер, взмахивая шевелюрой, ударяет по клавишам. Ходят драгуны, позванивая шпорами. Улан поручик сидит на диване и пишет своей сестре письмо в стихах.

— Я — это мой отец, — подумал неизвестный поэт и взглянул на висевшую на стене картину, — грудастая женщина в пышных юбках, оклеенных звездами, лежала на диване, закатив глаза. — Я, — раскинул руки неизвестный поэт, — это мой отец в девяностых годах, в каком-то провинциальном городе, потому что в Петербурге совсем другие дома терпимости: львы, мраморные лестницы, швейцары с галунами, лакеи в атласных панталонах, оркестр человек в пятнадцать, прекрасные дамы в бальных туалетах.

— Скри-кри-ра-ра-ру-ру, играл оркестр.

Казалось неизвестному поэту, что он — его дед, огромный, представительный, сидит в ложе; на барьере лежит шелковая афиша, обшитая мелкими кружевами; на сцене — Людовик XIII что-то говорит Ришелье. Театр деревянный, а вокруг театра деревянные домики и снега, снега... — Енисейск, — подумал неизвестный поэт. — Я — мой дед, городской голова Енисейска.

В сумраке он почувствовал приближение тройки. Будто он стоит на крыльце и слышит бубенчики, а потом удары подков, а потом и ржание, а потом голоса девиц: — «Приготовлен ли зал, где лакеи, отчего нет огней?»

И видит, лакеи из дома церемонно выходят. Раздается музыка бальная, дамы с шлейфами поворачиваются — а за окнами ночь снежная, ночь снежная, безмятежная, и стоит он и смотрит в окно — внизу аллея статуй, а вдали, в городе, снежная вьюга поет:

Где вы оченьки, где вы светлые.
В переулках ли, темных улочках
Разбежались, да повернулись,
Да кровавой волной попергнулись.
Негодяй на крыльце
Точно яблонь стоит,
Вся цветущая,
Не погиб он с тобой
В ночь звездную.
Ты кричала, рвалась
Бесталанная.
Один — волосы рвал,
Другой — нож повернул —
За проклятый, ужасный сифилис. /

— Кой чорт, — вскричал неизвестный поэт, — не жена она мне была, не любовница и не знаю я, был ли у ней сифилис.

Злой поднялся с белоснежной постели и пошел в Эрмитаж статуи рассматривать. В нижнем помещении чувствует, как он сам склоняется над собой и поет:

А друзья его все гниют давно,
Не на кладбищах, в тихих гробиках,
Один в доме шатается,
Между стен сквозных колышется,
Другой в реченке купается,
Под мостами плывет, разлагается,
Третий в комнате, за решеткою
С сумасшедшими переругивается.

Проснулся неизвестный поэт. Было 1-ое мая.

«Приятно, — подумал он, — четыре года как я порвал с ночью, с освещенным и потухшим городом, с ночными мерцающими толпами, с предвещаниями».

Глава V

Философия Асфоделиева

Странный Тептелкин, — болтали барышни, идя по Кирочной улице. Девственник, наверно. Женить его надо, а то пропадет без толку. Хочешь, я его за тебя выдам замуж? — подумав засмеялась Марья Петровна Далматова. — Будет тебе он ножки целовать, работать на тебя как вол, а ты — на кровати, вечно без белья лежать и романы перелистывать.

— Я хочу любви, чтобы всюду цветы забрезжили, чтоб мир для меня прояснился. А то, чорт знает что вокруг, — вздохнула Наташа.

— Ничего, кутнем сегодня, почитают нам стишки, угостят вином, целовать будут, — рассмеялась Муся.

— Но ведь они прохвосты, — прервала ее смех Наташа.

— Ничего, — прыснула Муся. — Если кто станет лезть по-настоящему, я булавку воткну куда попадется, живо отстанет. Она вытащила и серьезно показала сломанную шляпную булавку.

— Только для тебя иду, — заявила Наташа, — уверена ли, ты что это не опасно?

— Ерунда, если станет приставать, дай ниже живота кулаком — отойдет, как миленький.

Они вошли в подъезд. Дверь им открыл Свечин.

— Ну что, девушки, пришли, — улыбнулся он и закурил. — Весело проведем вечерок.

За ним появился Асфоделиев выбритый, со смоченными о-де-колоном руками, в визитке, в сияющем пенсне; он важно и неторопливо поздоровался, спросил, гуляли ли они сегодня по Летнему саду, не написали ли новых стихов.

Все вчетвером вошли в комнату.

Мумиобразный человек поднялся, взмахнул длинными волосами, поклонился издали.

— Вот наш друг Кокоша Шляпкин, — представил его Свечин, — поэт, музыкант, художник, кругосветный путешественник. Сейчас из глины революционные сцены лепит — прохвост ужаснейший.

Субъект улыбнулся.

За Мусей стал ухаживать Асфоделиев, за Наташей Свечин. Кокоша подсаживался то к одним, то к другим и, повидимому, скучал.

После ужина универсальный артист Кокоша сел за пианино, начал импровизировать. В соседней комнате Асфоделиев, выбрав местечко потемнее, затащил Мусю на диван. Муся, в истоме после выпитого вина, позволяла ему проводить губами по руке, целовать затылок, но руки его отстраняла, подбородок отталкивала.

Тогда Асфоделиев попытался на нее воздействовать философией.

— На кой чорт вам девственность, — шептал он, прижимая ее к себе и вращая жирным продолжением своей спины, — или вас соблазняют мещанские добродетели? нет, нет, я предлагаю вам сказочную жизнь богемы, истинно аристократическую жизнь.

И толстяк уронил пенснэ.

— Девушка — желторотый воробей, — продолжал он свои манипуляции, — от нее пахнет булкой; женщина — это цветок, это благоухание. Семья — это мещанство, это штопанье чулок, это кухня. — Рука его устремилась, но была остановлена. — Мы, поэты, — переваливался Асфоделиев на другой бок, — духовная аристократия, поэтессе нужны переживания. Как вы хотите писать стихи, не зная мужчины?

В это время, сквозь комнату, Свечин протащил хихикающую Наташу. Она была пьяна совершенно, голова ее

свесилась набок, она прикрывала рот рукой, ее тошнило. Он провел ее в уборную и стал прохаживаться за дверью возбужденно. Отвел ее в последнюю комнату, опустил на постель.

Наташа уткнулась в подушку и заснула. Свечин стал раздеваться, насвистывая. Он снял с себя рубашку, стал медленно расшнуровывать ботинки.

— Пусть она уснет крепче.

Снял ботинки, поставил их аккуратно у кровати.

Зажал ей рот рукой, она силилась сбросить его с себя, но не могла. Сквозь руку она плакала и видела свет лампы.

Он сел на краю постели отдышаться. Наташа подняла свою голову, потрогала грудь, посмотрела на его спину, откинулась и заплакала. Он повернулся, радостно похлопал ее и сказал:

— Не все ли равно — рано или поздно.

— Как твои дела? — входя в гостиную, спросил он Асфоделиева.

Тот сидел нахмурившись. Муся засмеялась.

Он отвел Асфоделиева к окну.

— Ты дурак, — сказал он. — А где прохвост Кокоша?

— Ушел давно, надоело ему ждать.

— Дурак твой Кокоша, сейчас бы в спальню пошел, пока девушка не очухалась. Говорил я ему, чтобы подождал.

— Я пойду туда, — сказал Асфоделиев, улыбнулся полным лицом, поправил пенсне и отправился.

Свечин подошел к Мусе.

— Где Наташа? — спросила она.

Но Свечин удержал ее за руки.

— Она сейчас придет.

Муся поняла и стала зла на подругу.

— Дура, — подумала она и села.

Свечин сел и начал обхаживать ее.

— Где Наташа? — снова повторила она. Встала, чтобы идти ее искать.

Из дверей вышел, улыбаясь, Асфоделиев.

— Ваша Наташа пьяна как стелька, она сейчас придет.

За окнами вставало солнце. Подруги, не попрощавшись, вышли.

В это утро Ковалев сидел перед окном — вот Пьеро несет Коломбину, вот старый муж лежит при лампе, а молодая жена стоит — ищет блох. Вот девушка обнаженная лежит на операционном столе; над ней в задумчивости склонился седой доктор.

Сколько воспоминаний... Сколько воспоминаний.

Открытка с Пьеро и Коломбиной — его любимая открытка. Открытки с ловлей блох и с операционным столом — любимые открытки генерала Голубца.

А когда Ковалев в тачке возил щебень на барку, прошла, возвращавшаяся с пирушки, Наташа, запрятав носик в воротник, не узнала Ковалева, а Ковалев был страшно рад, что она его не узнала, он ведь не рабочий, а так, временно, до приискания настоящей работы, щебень грузит. Скрылась Наташа; закурил Ковалев, сел на тачку и задумался; достал краюху ситного с изюмом и съел с удовольствием, вспомнил пасху, бой колоколов в воздухе и романсы.

— Ничего, вырвусь, — решил, — снова стану человеком. Вот только в профсоюз трудно пройти.

И стал думать о профсоюзе, как прежде о георгиевском крестике.

— Надо во что бы то ни стало утвердиться на строительных работах.

Генерал Голубец и корнет Ковалев

Генерал Голубец, отец Наташи, рассматривая партитуру, курил дешевую сигару, когда Наташа, возвращаясь с пирушки, прошла в свою комнату. Ее отцу захотелось поговорить в это весеннее утро. Он встал, пошел следом за Наташей и остановился в дверях.

— Комендант сидел у окна, — стал рассказывать генерал Голубец анекдот, — и увидел, что по улице идет поручик Н — ского полка без шашки. — «Иван!» — зовет комендант денщика и указывает на офицера. Через минуту офицер появляется в комнате, при шашке. Комендант видит шашку и смущается. — «Простите, поручик», — говорит он, — «мне показалось незнакомым ваше лицо. Давно ли вы у нас в городе?» И, любезно поговорив, отпускает офицера. Поручик вышел. Комендант снова сел к окну. Через минуту видит — идет тот же поручик без шашки! — «Иван!» — кричит комендант. — «Позвать его!» Через минуту входит офицер при шашке. Комендант конфузится еще более и просит офицера передать поклон от него командиру полка. Офицер вышел. Комендант снова сел к окну. Через минуту видит, опять идет тот же офицер без шашки! — «Иван!» кричит комендант. — «Вернуть его!» Через минуту входит тот же поручик при шашке. Совсем сконфуженный комендант приглашает поручика сыграть вечером в винт. Молодой офицер вышел. Комендант сел к окну. Через минуту видит, идет тот же поручик без шашки! — «Лиза, Елена Александровна!» — зовет комендант жену и дочь и показывает в окно на офицера. — «При шашке он?» — «Без шашки!» — в один голос отвечают жена и дочь. — «А я говорю, шашка есть! шашка есть!» — кричит комендант и сердится.